

В. Вацуро

«Опыт прямодушия»

Из истории литературно-критических воззрений Пушкина

1

В обширном и многообразном критическом наследии

Пушкина есть одно произведение, необычное по своей важности и по своей судьбе.

Оно представляет собою развернутое высказывание по самым животрепещущим проблемам современной литературной жизни; высказывание откровенное и резкое, не рассчитанное на печать. В нем сосредоточились не только размышления критика и эстетика, но и опыт поэта. В нем отразились сдвиги в художественной эволюции Пушкина. Это эстетико-критическая статья первостепенного значения. Но напрасно мы стали бы искать ее в собрании сочинений Пушкина.

Она не дошла до нас, и текст ее мы не знаем, хотя кое-что знаем о нем. Это письмо.

Письмо Петру Александровичу Плетневу, написанное из Михайловского в конце января-начале февраля 1825 года, о котором известно лишь по ответу Плетнева от 7 февраля. Из этого ответа мы можем восстановить хотя и не текст пушкинского письма, но по крайней мере сумму его идей. Но начать эту реконструкцию нужно издалека.

2.

Когда Пушкин и Плетнев познакомились впервые, будущий адресат пушкинского письма был в литературном кругу поэта лицом если не чужеродным, то и не вполне своим.

В среде бывших лицеистов и «арзамасцев» он пришел извне, принес с собою традиции и привычки, полученные в семье провинциального священника; только восемнадцать лет он приехал в Петербург и поступил в Педагогический институт. Он был ровесником Вяземского, — но только начал приобщаться к литературе, когда Вяземский был уже признанным поэтом. Окончив институт, он остается преподавать в нем и здесь находит себе первоначальную литературную среду. Знакомство с Кюхельбекером, одно время его сослуживцем, а через него — с Дельвигом открывает ему доступ в лицейский кружок.

Только в 1818 году Плетнев начинает делать свои первые литературные шаги. Недостигаемым образцом для него становятся Жуковский и Батюшков: он пишет элегии, баллады, послания — совершенно подражательные — в том возрасте, в котором Пушкин писал «Бориса Годунова». Педагог становится учеником, прилежным, трудолюбивым; ему не доставало поэтического таланта, — он восполняет его умением и вкусом; нужду в литературном наставнике он удовлетворяет общением и штудированием образцовых сочинений. Он не отказывается ни от какой работы — журнальной, издательской. Он умеет вести счета, договариваться с книгоиздателями и типографиями и становится вскоре незаменимым человеком в редакции «Соревнователя просвещения и благотворения», да и в самом издающем этот журнал Вольном обществе любителей российской словесности; он пишет рассуждения и критические разборы. Но у него еще нет литературного лица; он не офит, и на его суждениях лежит отпечаток бесцветной нормативности устаревших учебных книг. Как ни старается он приблизиться к людям, группирующимся около Карамзина, к нему отно-

сятся с ласковой снисходительностью и держат на дистанции.

В 1821—1822 годах Плетнев печатает две элегии: «Б...ов из Рима» и «Ж...й из Берлина», первую анонимно, вторую за полной подписью. Он делает почитаемых им поэтов-современников — Батюшкова и Жуковского — героями стихов, живыми классиками, в уста которых вкладывает речи о поэтическом вдохновении и тоске по родине. Жуковский отнесся спокойно к этому нарушению этикета, сделанному из лучших побуждений; Батюшков, уже пораженный первыми приступами душевной болезни, раздражительный и мнительный, оскорбился смертельно. «Арзамасцы», друзья его, сочли публикацию неприличием, — и с ними был вполне согласен Пушкин, прочитавший стихи Плетнева в «Сыне отечества». Поэт написал об этом брату 4 сентября 1822 года из Кишинева, добавив, что Плетневу «приличнее проза, нежели стихи — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец». «Кланяйся ему от меня, — заканчивал Пушкин, — (т. е. Плетневу — а не его слогу) и уверь его, что он наш Гете».

Левушка Пушкин не нашел ничего лучшего, как показать Плетневу самое письмо.

И здесь Плетнев сделал тоже единственно верный, хотя, быть может, и самый трудный шаг, который во многом определил его дальнейшие взаимоотношения с Пушкиным. Он отправил Пушкину стихотворное послание, начинавшееся словами:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И, может быть, възбудительный урок
Ослабшие мои възбудят крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Узнаю судьбу моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.

Пушкин был доволен. Он подосадовал на бестактность брата, но написал ему: «...Послание Плетнева, может быть, первая его пьеса, которая вырвалась от полноты чувства. Она блещет красотою истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением; тон его смел и благороден». В этом смысле он отвечал и Плетневу. Все это произошло в октябре 1822 года.

3.

Прошло два года.

За это время Плетнев стал окончательно своим человеком в прежнем пушкинском кругу. Он сблизился с Дельвигом, Баратынским, сохранил связи с Кюхельбекером, познакомился с Жуковским и Вяземским. Его считали приносящим автором посланий к друзьям; он писал к Воейкову, Гнедичу, Жуковскому, Вяземскому, Дельвигу, Баратынскому, Козлову и многим другим. И он уже получил известность как один из лучших столичных критиков.

Когда Дельвиг выпустил первую книжку альманаха «Сверные цветы», Плетнев написал для него обзор новейшей русской поэзии. Это было «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». Инициалы обозначали графиню Софью Ивановну Соллогуб, мать будущего писателя В. А. Соллогуба.

«Письмо» Плетнева — весьма примечательное явление в истории русской критики.

Самое обращение к «даме» было в известном смысле принципиально. Когда Карамзин и его последователи начинали реформу русского литературного языка, они обратились к языку светской женщины как к своеобразному ориентиру, с которым соотносили свою прозу. Этот язык был освобожден от архаических книжных речений и профессиональных жаргонизмов; он в наибольшей степени приближался к эталону повседневной, но литературно обработанной речи «образованного общества». Карамзинисты, как

лаконически выразился Батюшков, были теми, «кто пишет так, как говорит, Кого читают дамы». Но здесь была еще и другая сторона.

Еще в XVII веке во Франции салон с хозяйкой во главе был негласным законодателем литературного вкуса, — традиция эта продолжалась и в XIX веке. В салоне Рекамье царил Шатобриан. Роль салона в русской литературной жизни была, конечно, гораздо меньшей, но «читательницам» в деле распространения просвещения принадлежала роль, едва ли не большая, чем «читателям»: они во многом устанавливали литературные репутации.

Когда Рылеев и Бестужев издали «Полярную звезду», они поставили на титуле: «Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности», — и это был не просто галантный жест. В своем знаменитом обзоре «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев усматривал главную причину недостатка оригинальных писателей в России в «изгнании родного языка из общества и равнодушии прекрасного пола ко всему, на оном писанному».

Декабристская критика стремилась воспитать аудиторию с преимущественным интересом к национальной словесности, причем словесности романтической, — и в этом широком просветительском плане отводила «читательницам» особую роль.

По тем же самым причинам Плетнев обращает свое «письмо» к светской женщине, оспаривая ее мнение, что лучшим современным поэтом является Ламартин, автор популярнейших в Европе и России «Поэтических размышлений», наследник и реформатор элегической традиции.

Совершенно так же, как Бестужев, он выступает в защиту национальных начал в поэзии. Романтическая и предромантическая эстетика искала их в литературе Англии и Германии, и в «письме» Плетнева сказались эта раннеромантическая реакция против французского языка и французской поэзии: на этой последней, говорит он, лежит отпечаток «светской учтивости и придворного остроумия», стеснившего живое чувство; она скована цепями «всемирного языка, которым все говорят прежде, чем начинают мыслить». Русская словесность счастливо избежала этих пут; она возникла до того, как в обществе установились «французские законы светского обращения». Так, Ломоносов написал свою первую оду в Германии, вдохновляемый чувством патриотизма. «Если бы искусная рука составила русскую антологию, т. е. собрала в одну книгу все лучшее из нашей поэзии, то решительно должно сказать, что эта книга по своему поэтическому достоинству равнялась бы с антологией классической древности. Чувства глубокие и верные; краски яркие и чистые, мысли новые и сильные; язык благозвучный, выразительный и способный ко всем звукопадениям: вот особенные преимущества русских поэтов перед французскими!».

От этой основной идеи и отправляется Плетнев в своем обзоре русской поэзии. Он не стремится к историческому изложению; в самом построении его статьи ощущается рука педагога. Он делит поэтов на тех, которые «издали уже собрания своих произведений», приглашая свою читательницу взять в руки поэтические сборники, и тех, которые печатаются в «повременных изданиях», обращая ее внимание на русские журналы. Но критик идет дальше: в свою статью он включает образцы, полностью или в отрывках, превращая ее в своеобразную хрестоматию.

Плетнев начинает с Державина. Для складывающейся раннеромантической эстетики, унаследовавшей от сентименталистов их основной эстетический критерий — «вкус», Державин — почти то же, чем был Шекспир для «классиков» — «необразованный гений». Плетнев так и пишет: «Гений был ему вместо вкуса», — и вслед за тем обращает внимание на лирический «восторг», силу чувств и живую картинность описаний. Он безусловно ставит Державина на одно из первых мест среди русских поэтов и не забывает

упоминать о преимуществах его перед Жаном Батистом Руссо, признанным корифеем одической поэзии классицизма.

Наряду с критерием непосредственности чувства Плетнев выдвигает критерий народности и приводит в пример басни Крылова и песни Дмитриева и Нелединского-Мелецкого. Но поэзия XVIII века для него лишь предистория «нового периода», которому он решительно присваивает титул «золотого века» нашей словесности». «Золотой век» — это век романтической поэзии, основанной на «познании поэтического искусства и природы человека», и в дверях его стоит Батюшков и Жуковский, понявшие самое существо романтизма, а не только усвоившие, подобно Ламартину, его внешние формы. Из поэтов же, не издавших еще собрания сочинений, здание его поддерживает Пушкин, чьи поэмы доставили бы ему славу не только во Франции, но и в Англии; он сочетает «игривый и разнообразный ум с глубокими «движениями чувствительности», и его «совершеннейшая поэзия» несопоставима с современной ему поэзией Франции.

Далее Плетнев развертывает панораму современных русских поэтов. Его цель — показать «разнообразие мужественных дарований» и, с другой стороны, «всеобщее, истинное направление, которое они, несмотря на господствующий французский вкус в большей части судей своих, сообщают русской поэзии». Он пишет о народной идиллии Гнедича, о «шутливых» стихах Д. Давыдова и Вяземского, об аллегориях Федора Глинки, о «Думах» Рылеева, с их «чистым и легким языком», «наставительными истинами» и благородными чувствованиями. Но, может быть, сам того не замечая, он обращает особое внимание на «язык чувств» элегической поэзии, и в этом сказываются его собственные поэтические пристрастия и литературное воспитание. Он вспоминает о поэзии Александра Крылова, своего прежнего сослуживца по Педагогическому институту, и Василия Туманского, у которых видит оригинальность и новизну поэтической мысли. Плетнев цитирует Языкова и «Чернеца» Ивана Ивановича Козлова, но симпатии критика более всего принадлежат Баратынскому. «В элегическом роде он идет новою, своею дорогою. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностью мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии».

Плетнев заключил свой обзор напоминанием о молодости нашей литературы, которая нуждается в критическом поощрении, и советованием, что она расцветает «в такое время, когда самые лучшие стихи считают вообще игрою ума, а русские стихи читает меньшее число людей, нежели пишет их».

4.

Статья Плетнева вызвала полемику, лишь немногим менее бурную, чем обзоры Бестужева в «Полярной звезде».

Споры шли более всего против оценок современных поэтов. Мысль о «золотом веке» поэзии, открытом Жуковским, казалась абсурдной, в частности, Бестужеву, начавшему уже борьбу против «германизма» и «мистицизма» в поэзии Жуковского; рецензентам «Сына отечества» казалась неверной характеристика Пушкина и преувеличенной оценка Баратынского. Они оскорблялись и за Державина, который не попал в «золотой век» и поставлен ниже Жуковского, Пушкина и Баратынского (последнее имя было снабжено возмущенным восклицательным знаком).

Пушкин из Михайловского следил за развернувшейся войной, и обе стороны обращались к нему, как в третейский суд. Бестужев написал ему свое мнение о статье Плетнева, — отрицательное, до нас не дошедшее. Пушкин не защищал Плетнева, но вступился за Жуковского.

Плетнев жаловался на своих критиков. Пушкин отшучивался и писал Вяземскому 25 января: «Как ты находишь статью, что написал наш Плетнев? экая ересь!»

Плетнев настаивал: «Если ты доброжелательствуешь мне, говори прямее. Шутка, конечно, мила; но дело нужнее.

После твоих побранок мне легче исправляться. О стихах я уж не спрашиваю. Но что проза? Главное: есть ли слог?» (22 января 1825).

Два года беспокоил его пушкинский отзыв в письме к Левушке.

То, чего требовал он от Пушкина, было, однако, делом не простым и не легким. Расставаясь, они не были коротко знакомы, — отношения устанавливались заочно: в письмах и через третьих лиц. Пушкин же удостаивал откровенного критического отзыва, как правило, только близких ему людей. Позднее Дельвиг с удивлением спрашивал барона Е. Ф. Розена: «...Неужели Пушкин сделал вам критическое замечание?» — «Что же тут мудреного? Кому же как не ему учить новобранца?» — «Поздравляю вас: это значит, что вы будете не в числе его обыкновенных знакомств! Пушкин в этом отношении чрезвычайно осторожен и скрытен, всегда отделяется светскою вежливостью. Я вместе с ним воспитан — и только недавно начал он делать мне критические замечания: это вернейший признак особенно-го расположения к автору!».

Плетнев прислал о знаке доверия — и получил его.

Так возникло письмо, о котором мы знаем по ответу на него Плетнева 7 февраля 1825 года.

5.

«Я писал к даме, ей-богу, не из куростройства», — оправдывался Плетнев 7 февраля.

«Куростройство» — ирония Пушкина, с которой начинались принципиальные возражения.

«Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18-го столетия? Общество M^{es} du Deffand, Boufflers, d'Epinau, очень милых и образованных женщин. Но Милтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола».

Так Пушкин заявит в том же 1825 году в статье «О предисловии г. Ламонте к переводу басен И. А. Крылова», — и спор, начатый на страницах писем, станет достоянием читающей публики. В представлении Пушкина, Данте и Милтон — романтические поэты. «Истинный романтизм» должен освободиться от родимых пятен сентиментальной эстетики, от этикетных форм светского салона, от оглядки на его язык.

Именно поэтому он решительно возражает самой идее сделать Ламартина точкой отсчета для современной поэзии. Он не совсем прав: Плетнев, как мы видели, стремился не сопоставлять, а противопоставлять; он оправдывался, что Ламартин был «так сказать, пари» его разговора. Но Пушкин отвечает на свои мысли, через головы теоретиков спора с самой теорией. Журналисты ставят на одну доску Данте и Ламартина («Письмо к издателю «Московского вестника», 1828); его «тощее и вялое однообразие» сопоставляется с гением Байрона и Шекспира (Начало статьи о В. Гюго, 1832). Пушкин полемичен: он не считает Ламартина поэтом, лишенным достоинств, — но ему важно утвердить приоритет подлинной романтической поэзии, и его раздражают нагромождения сбивчивых и путаных определений. «Под романтизмом у нас разумеют Ламартина», — жалуется он Бестужеву в ноябре 1825 года. И в полном соответствии с своей основной идеей он шаг за шагом оспаривает суждения Плетнева о современной русской поэзии.

Плетнев пытается оправдываться, и мы слышим отголоски пушкинских возражений. «Разнообразна ли наша словесность? В поэзии у нас довольно разнообразия, судя по числу истинных поэтов. ...Направления нет — я похвастался. Итак, нет ни направления, ни разнообразия, — и уж тем более нет золотого века. С этой формулой Плетнева, кажется, не был согласен никто из критиков, — только через десятилетия, в исторической перспективе, стало ясно, что Плетнев не был так уж неправ. Но Пушкин говорит не как историк; голос его доносится из самой гущи споров, разногласий, из недр самой литературы, где рождающееся новое посягает на старые кумиры. Иван Иванович Дмит-

риев, незыблемый оплот «классической» нормативности, Дмитриев, осудивший романтическое «кизлшество» в «Руслане и Людмиле», применив к ней нормы отживающей литературной морали, сейчас вызывает у Пушкина приступ полемической непримиримости. И следующий же удар обрушивается на «унылых элэгики».

«О Туманском и А. Крылове согласен с тобой. Впрочем, я многих из молодых назвал за то, что у них есть какое-то ух...»

Кюхельбекер написал в 1824 году статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», где резко напал на бесцветное однообразие эпигонов Жуковского и даже поднял руку на их «и своего!» учителя. Вялый язык, повторяющиеся образы, общий тон уныния и меланхолии, туманность и неопределенность целого... В поэзии словно иссякали жизненные силы. Критик предлагал вернуться к возвышенному лиризму одической поэзии.

Пушкин был согласен с полемическим пафосом Кюхельбекера, но не принимал его рекомендаций.

Первые элэгики в новом поколении русских поэтов — Пушкин и Баратынский — одновременно с Кюхельбекером и независимо от него начинали борьбу с «унылой элэгией», в которую вложили столько творческих сил. Они освобождаются от своего прошлого, в которое их тянул Плетнев. Поэтому оба были недовольны его статьей.

«Он славный малый, — писал Пушкин Бестужеву о Туманском 12 января 1824 г., — но как поэт я не люблю его».

И Туманский, и Александр Крылов уже заявили о себе как сложившиеся «унылые элэгики», и оба они были все не ординарными талантами. Но это была для Пушкина поэзия отживающая.

Он упрекал Плетнева, выдвигавшего их и забывшего о Катенине.

«Катенина талант я уважаю, но жестких стихов его не люблю», — возражал Плетнев.

Еще пять лет назад Пушкин писал о стихах Катенина: «полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией» («Мои замечания об русском театре»). Сейчас он, кажется, готов пренебречь важным недостатком во имя еще более важных достоинств. Катенин оказывался союзником в начавшейся борьбе. В его стихах могло быть безвкусие, языковая неряшливость, стилистическая какофония, но в них не было жеманства и вялости. Им была присуща первобытная грубость простонародной речи. Именно Катенина Пушкин вспоминает, когда через три года станет набрасывать статью «О поэтическом слог»: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». «Жесткие стихи» Катенина открывали путь романтическому движению, и спустя восемь лет после своего спора с Плетневым Пушкин назовет непримиримого поэта «одним из первых апостолов романтизма», впервые введшим «в круг возвышенной поэзии языка и предметы простонародные» («Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина», 1832).

Итак, вот что Пушкин в начале 1825 года склонен был считать началом романтического движения. Не одическую высоту, как Кюхельбекер, и даже не обращение к национальной теме и национальному языку, как Бестужев или Плетнев, — последнее подразумевалось само собой, но этого было недостаточно. Нелединский-Мелецкий и Дмитриев писали подражания народным песням, но поддерживали «классическое» здание. Державин... Но о Державине был разговор особый, на который Пушкин Плетневу только намекал. Частью его «кумир» был сделан из чистого золота, — Пушкин готов был признать заслуги его в подготовке языка романтической поэзии, во всяком случае, Державина он приводил, наряду с Милтоном, в пример подлинной поэтической смелости. Однако требовалось

еще очистить «золото» от «свинца», — и Пушкин откладывал анализ на будущее.

Сейчас он искал трагической силы и лирической экспрессии и в «мутных, но кипящих источниках» народной речи. Он писал «Бориса Годунова», и Шекспир владел его воображением. Шекспир, через которого ощущаешь головокружение, как будто смотришь в бездну, — и Шекспир — «гениальный мужичок», как скажет он вскоре Н. Полевому, не понявшему его мысли до конца.

С этих позиций он оценивал современное состояние русской поэзии.

Это был этап борьбы, полемики, преодоления, необходимого, чтобы идти вперед.

«Брат Плетнев! не пиши добрых критик! Будь зубаст и бойся приторности!» (Плетневу и Л. Пушкину, 15 марта 1825 г.).

Он сделал лишь одно исключение из стройной системы утверждений и отрицаний — исключение для Баратынского.

Он досадовал на похвалы Плетнева: «неосторожным усердием повредил Баратынскому» (Л. Пушкину, конец января — первая половина февраля 1825 г.). О Баратынском шли хлопоты, — тяжкая, многолетняя, упорная война за возвращение ему гражданских прав, за возможность выйти в отставку и заняться литературной работой. Имя его не должно было попадаться на глаза, пока успех был сомнителен. Статья же Плетнева возбудила страсти, и роль Баратынского в русской поэзии стала предметом споров среди журналистов.

Но оценка Плетнева была ошибкой только как тактический ход, по существу же Пушкин прикинул к ней, а не к мнению Бестужева и «Сына отечества». «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах», — писал он в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (1828). «Верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность» — это почти парафраза того, что говорил о Баратынском Плетнев. Пушкин воспользовался и счастливым выражением «истина чувства», когда в статье «О народной драме...» определял основной закон для драматических сочинений: «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах...».

А несколько раньше он словно в противоречии с самим собой выступил в защиту элегического жанра: «Ныне вошло в моду порицать элегию — как в старину старались осмеять оды; но если вялые подражатели Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из того еще не следует, что роды лирический и элегический должны быть исключены из разрядных книг поэтической олигархии» («Стихотворения Евгения Баратынского», 1828).

Должно было пройти несколько лет, чтобы борьба с «унылой элегией» и наследием сентиментальной литературы сменилась спокойным суждением аналитика.

Памятником этой борьбы осталось не дошедшее до нас письмо, в сущности, ненаписанная статья, полемически утверждавшая теорию «истинного романтизма», о которой Пушкин думал еще на юге и основы которой излагал в письмах Вяземскому и в целой серии начатых и незавершенных критических набросков двадцатых годов. По этим наброскам мы отчасти можем восстановить внутреннюю логику его письма, — и то потому, что Плетнев сделал все от него зависящее, чтобы услышать нелюбимый суд Пушкина.

Будем же благодарны ему за этот его «копыт прямодушия».

Ленинград

Н. Эйдельман

«Снова тучи...»

Пушкин и самодержавие в 1828 году

Рок завистливый...

150-летие пушкинской гибели почти совпадает со 160-летием «амнистии»: осенью 1826 года в кремлевском кабинете Николая I начались последние десять лет на воле.

Снова и снова размышляя о финале трагедии, мы вглядываемся в последние, предпоследние, более ранние сцены — и, наконец, обращаемся к завязке.

«Гул затих, я вышел на подмостки...»

Здесь, в самом начале определилось многое, очень многое, и нам, знающим, очевиден необратимый «конец пути». Пушкин же, многое предчувствовавший, еще надеялся. Как много несет в себе образ «завистливого рока». Этот эпитет поэт употребляет редко (в «Словаре языка Пушкина» отмечено 18 случаев).

Деятнадцатилетний напишет Жуковскому:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.

Теперь же завистлив рок; завидует счастью, очевидно немалому; счастью, трагический характер которого обозначается перед нами новыми и новыми подробностями.

«Краткая хроника»

4—8 сентября 1826 года. Фельдъегерь доставляет Пушкина в Москву для встречи с царем. В эти же дни разрастается опасное для поэта дело о стихотворении «Андрей Шенье».

Осень. Пушкин в Москве на свободе. Первые чтения вслух, друзьям и знакомым, «Бориса Годунова».

Ноябрь. Поездка в Михайловское: «есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304)¹.

15 ноября. Завершение царского задания, записки «О народном воспитании».

В этот же день М. П. Погодин посылает Пушкину письмо из Москвы, которое перехватывается, перлюстрируется и передается для заключения «эксперту», Ф. В. Булгарину (см. мою публикацию «Вопросы литературы», 1985, № 2).

22 ноября. Пушкину, по его выражению, «очень мило, очень учтиво вымыли голову»: «Ныне доходят до меня сведения, — сердился Бенкендорф, — что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами вновь трагедию» (XIII, 307).

29 ноября. Пушкин из Пскова посылает «Бориса Годунова» для «высочайшего цензурования» вместе с перебеленным текстом записки «О народном воспитании».

Декабрь. Поэт, попавший в дорожную катастрофу, отлеживается в псковской гостинице. По-видимому, здесь он получает сообщение Бенкендорфа (от 9 декабря), что «Борис Годунов» передан царю; последняя же фраза письма

¹ Здесь и далее ссылки в тексте на Полное собрание сочинений А. С. Пушкина (М., Л., Издательство Академии наук СССР, 1937—1959, т. I—XVII).

Литературное '87 2 ОБОЗРЕНИЕ

ISSN 0321-2904

В номере

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ
ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1973 г.

Главный редактор — Леонард ЛАВЛИНСКИЙ

Редколлегия:

Виктор АСТАФЬЕВ
Вадим БАРАНОВ
Альберт БОГДАНОВ
Людмила БОНДИНА
Пятрас БРАЖЕНАС
Чингиз ГУСЕЙНОВ
Игорь ДЕДКОВ
Валерий ДЕМЕНТЬЕВ
Игорь ДЗЕВЕРИН
Надежда ЖЕЛЕЗНОВА
Николай ЗАДОРНОВ
Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Леонид ИВАНОВ
Нонна ИЗЮМОВА
Мухамеджан КАРАТАЕВ
Лазиз КАЮМОВ
Зоя КЕДРИНА
Петр КРАСНОВ
Никифор ПАШКЕВИЧ
Владимир ПИСКУНОВ
Тимофей ПРОКОПОВ
(ответственный секретарь)
Георгий ПРЯХИН
Валентин ХМАРА
(первый заместитель главного редактора)
Аркадий ЭЛЬЯШЕВИЧ

Художественный редактор
И. А. ВАСИЛЬЕВ
Технический редактор
В. А. АВДЕЕВА

Адрес редакции:
127254 Москва, И-254
ул. Добролюбова, д. 9/11

Телефоны:
219-92-63 главный редактор
218-03-98 заместители главного редактора
219-92-49
219-87-73 ответственный секретарь
отделы:
218-02-94 русской литературы
219-92-54 литератур народов СССР
219-88-22 критики
219-89-17 зарубежных литератур
218-42-88 публицистики
219-92-57 «Литература в мире искусства»
219-92-61 «Литература и читатель»

К 150-летию со дня смерти
А. С. ПУШКИНА:

В. ВАЦУРО — из истории литературно-критических воззрений Пушкина (стр. 4),
Н. ЭЙДЕЛЬМАН — о Пушкине и самодержавии в 1828 году (стр. 7), Елена СТЕПАНЯН о Пушкине и пушкинских образах в творчестве современных поэтов (стр. 16), Джованни ДЖУДИЧИ — о работе над переводом «Евгения Онегина» на итальянский язык (стр. 20).

«Круглый стол»: освоение Севера и культура (стр. 23).

Статьи, обзоры: В. ЧАЙКОВСКОЙ о природно-космических мотивах в современном искусстве (стр. 39), И. ПИТЛЯР о прозе журнала «Звезда» (стр. 43).

Дискуссию «Критика: вчера, сегодня, завтра» продолжает В. БУТОРИН (стр. 49).

Заметки Натальи СТАРОСЕЛЬСКОЙ о Ереванском камерном театре (стр. 93).

Диалог философа Юрия ДАВЫДОВА и критика Александра АРХАНГЕЛЬСКОГО (стр. 102).

Москва
Издательство
«Советский писатель»